

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



политика

Окончание. Начало
в «ПОЛИТИИ», №1
(весна 2002)

Зафиксируем теперь второе основное положение политической социологии. *Власть есть универсальный феномен человеческого общения, начиная от диадического взаимодействия и кончая сложными системами. В самом широком смысле власть есть способность вторгаться в течение социальных событий. В зависимости от того, каковы источники властного воления, ресурсы, привлекаемые для осуществления власти, и последствия, как предвиденные, так и непредвиденные, властного действия или бездействия, мы имеем возможность рассматривать ее как специфический феномен той или иной сферы общественной жизни, в том числе и политики. Вторжение в течение социальных событий с использованием соответствующих ресурсов – один из первых шагов к установлению социального порядка.*

Самая элементарная власть может натолкнуться на противоположно направленную волю. Столкновение двух волей есть конфликт. Способность добиться своего, несмотря на конфликт, базируется на ресурсах власти. Предельный ресурс власти – физическое насилие. Физическое насилие означает, что взаимодействие воли не есть чисто ментальная характеристика. Воля неотделима от движений тела и, напротив, движения тела вносят вклад в формирование воли. Предельный случай физического насилия – угроза жизни, реальная возможность убийства непокорного. Политическая власть есть там, где появляется возможность правомерного распоряжения чужим телом, вплоть до лишения жизни. «Итак, *политической властью*, – говорит уже Локк, – я считаю *право* создавать законы, предусматривающие смертную казнь и соответственно все менее строгие меры наказания для регулирования и сохранения собственности, и применять силу сообщества для исполнения этих законов и для защиты государства от нападения извне...»¹. И через несколько столетий другой известный теоретик говорит о том же: «...сохранение жизни является основной целью подавляющего большинства людей. Если так, то отсюда следует, что *способность отнять жизнь – наиболее эффективная форма власти*. Иными словами, больше людей будут с большей готовностью отвечать на угрозу применения силы, чем на какую-либо другую»². Однако политическая власть – это не просто превосходство в силе, но превосходство в *праве* применять силу. «В прошлом, – говорит Вебер, – различным союзам – начиная с рода –

¹ Локк Дж. Два трактата о правлении // Пер. Ю. В. Семенова // Локк Дж. Сочинения в трех томах. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 263.

² Lenski G. Power and privHedge: A theory of social stratification. N. Y.: McGraw Hill, 1966. P. 50.

физическое насилие было известно как совершенно нормальное средство. В противоположность этому сегодня мы должны будем сказать: государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной области – область включается в признак! – претендует (с успехом) на *монополию легитимного физического насилия*³. А что такое, по Веберу, союз? Это «замкнутое» (см. выше) или, во всяком случае, ограничивающее и регулирующее внешний доступ к себе социальное отношение, в котором сохранение порядка гарантировано поведением определенного человека (руководителя) или группы людей (управленческого штаба)⁴. «Постольку, поскольку члены союза как таковые в силу значимого порядка подчинены отношениям господства, он должен называться союзом господства. ... Политическим союзом должен называться союз господства тогда и постольку, когда и постольку его существование и значимость его порядков в рамках конкретной географической области постоянно гарантируются применением и угрозой применения физического принуждения со стороны управленческого штаба»⁵. Таким образом, монополия управленческого штаба на применение физического насилия к конкретным людям (в случае государства: гражданам) на определенной территории позволяет, так сказать, преобразовать власть в господство: не просто реализовать свою волю даже вопреки сопротивлению другого, но обеспечить повиновение приказам, страшая физическим принуждением, вплоть до убийства⁶.

Иначе говоря, исследуемое отношение усложняется. По одну сторону мы имеем теперь не просто способность «где-то», «в чем-то», «как-то», «по отношению к кому-то» осуществить свою волю, но конкретных людей или круги лиц, из которых одни приказывают, а другие подчиняются приказам, причем и те, и другие привержены порядку. Более дифференцированно это можно представить так: те, кто подчиняется: 1) привержены порядку, 2) боятся физического насилия, и 3) считают монополизацию этого насилия со стороны руководителя и/или управленческого штаба легитимной; те же, кто командует: 1) привержены порядку, 2) располагают ресурсами для физического насилия и 3) считают свою власть единственно легитимной и поддерживают веру в ее легитимность. Можно также сказать, что приверженность порядку и со стороны командующих, и со стороны подчиненных предполагает веру в легитимность господства и применения насилия, так что распределению ресурсов насилия соответствует вера в легитимность.

Слово «легитимность» – одно из самых употребительных в политическом лексиконе, однако, в социологии, во всяком случае, со времен Вебера, оно имеет иное значение, чем в политической теории, для которой легитимность – это не просто законность, т.е. легальность. Легитимность предполагает некоторое высшее, более подлинное обоснование, нежели законное принятие решений или действенность права, подкрепляемая санкцией⁷. Приведем лишь

³ Вебер М. *Политика как призвание и профессия* // Вебер М. *Избранные произведения*. М.: Прогресс, 1990. С. 645.

⁴ См.: Вебер М. *Wirtschaft und Gesellschaft*. *Op. cit.* S. 26.

⁵ *Ibid.* с. 26

⁶ В некоторых государствах, как известно, не существует смертной казни. Однако это не отменяет логики приведенных рассуждений: у государства все равно остается монополия на высшую степень легитимного физического насилия, в чем бы оно ни состояло.

⁷ См. из новейших источников на русском языке: Хейфе О. *Политика, право, справедливость. Основновоположения критической философии права и государства* / Перевод Вл. С. Малахова при участии Е. В. Малаховой. М.: Гнозис, 1994.

один характерный пример. В знаменитых лекциях Ф.Гизо «История цивилизации в Европе» мы читаем: «Политическая легитимность есть очевидным образом право, основанное на древности, на длительности; на первенство во времени ссылаются как на источник права, доказательство легитимности власти»⁸. Но это еще не все. «Для политической легитимности прежде всего характерно отрицание силы как источника власти, воссоединение с моральной силой, идеей права, справедливости, разума»⁹. Таким образом, политический философ способен решать вопрос о подлинной и неподлинной легитимности, измеряя ее меркой древности или справедливости и разума, или того и другого. Социолог же не может в рамках своей дисциплины высказываться о легитимности *самой по себе*. Социолог исследует легитимность как веру в легитимность. Для него нет правильных и неправильных порядков, а значит, нет подлинной и не подлинной легитимности. Точка зрения Вебера на легитимность и сегодня представляется одной из наиболее продуктивных. Мы постараемся изложить ее сравнительно подробно.

Согласно Веберу, легитимность некоторого порядка может быть гарантирована:

I. чисто внутренне, а именно:

1) чисто аффективно: чувственной самоотдачей;

2) ценностно-рационально: верой в его (порядка – А.Ф.) абсолютную значимость в качестве выражения последних обязывающих ценностей (нравственных, эстетических или каких-либо иных);

3) религиозно: верой в зависимость обладания благом спасения от его соблюдения;

II. а также (или только) ожиданиями особых внешних последствий, т.е. состоянием интересов; однако это ожидания особого рода¹⁰.

Эта классификация дополняется перечнем того, в силу чего некоторому порядку действующие могут приписать легитимную значимость:

a) в силу *традиции*: значимость вечно существовавшего;

b) в силу *аффективной* (особенно эмоциональной) веры: значимость нового откровения или примера;

c) в силу *ценностно-рациональной* веры: значимость того, что понимается как абсолютно значимое;

d) в силу позитивного уложения, в *легальность* которого верят.

Эта легальность может быть значимой для участвующих как легитимная:

a) в силу соглашения заинтересованных лиц;

b) в силу его навязывания (на основе считающегося *легитимным* господства людей над людьми) и послушного следования ему¹¹.

Обратим внимание прежде всего на различие легитимности и легальности. Слова эти очень похожи и происходят от одного и того же латинского *lex* – закон. Но смысл у них разный. Исторически

⁸ Guizot. *Histoire der la civilisation en Europe*. Paris: Victor Masson, 1851. P. 61.

⁹ *Ibid.* P. 63.

¹⁰ Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Op. cit. S. 17.

¹¹ См.: *Ibid.* S. 19.

¹² Вебер находит для этого важный, хотя и почти непереводаемый термин: «*gesetz*» (ср. : «*Satz*» – «предложение», «фраза» и «*Satzung*» – «устав», «инструкция»).

легальность ассоциировалась прежде всего с писаным правом, с формулировками законов¹², собственно, она и означала соответствие законам, принятым также законным, легальным путем. Напротив, легитимность ассоциировалась прежде всего с традицией, «божественным правом», «естественным правом» и т.п., т.е. с тем, что должно было бы служить меркой правоты закона, сколь бы *законным* он ни был по формальным основаниям. В разные эпохи и разными политическими силами то легальность ставилась выше легитимности, то наоборот. Вебер подходит к делу именно как социолог, и потому для него общим понятием оказывается легитимность: вера в законную значимость порядка. Но тогда и легальность оказывается только одним из видов легитимности. Мы, таким образом, опять подходим к тому, каким смыслом наполняют действующие свое поведение в рамках социального порядка. Ведь мы видели, что их рациональность и своеволие могут привести к тому, что социальное отношение станет невозможным («гоббсова проблема»). Легальность же связывается у Вебера с рациональной способностью человека, который отдает себе отчет в своих действиях, четко ставит цели и рассчитывает необходимые для их достижения средства. Такой человек готов подчиняться, готов принять значимость порядка, если он ясно увидит, что те правила, которым он вынужден подчиняться, проистекают не из традиции (давно уже потерявшей для него притягательность), не из произвола своенравного властителя, но из деятельности предсказуемо функционирующего органа, образованного по рационально обоснованным правилам, компетентного и письменно оформляющего все свои решения и распоряжения¹³. С понятием легально-рациональной легитимности тесно связаны также понятие предприятия и концепция бюрократии. Предприятием Вебер называет непрерывное целенаправленное действие определенного рода¹⁴, характер предприятия может иметь и наука, и политика, не говоря уже о промышленном предприятии. Что же касается рациональной бюрократии, то она представляет собой самый чистый случай легально-рационального господства, осуществляемого при посредстве управленческого штаба. Члены этого штаба высоко квалифицированы, дисциплинированы, имеют четко обозначенные компетенции, находятся на соответствующих местах в иерархии, лично свободны, но не владеют сами средствами управления, а заключают контракт для получения должности и продвигаются по служебной лестнице в соответствии с заслугами¹⁵. Это, конечно, сильно идеализированный образ бюрократии – не только в смысле теоретической идеализации или идеального типа, но и в самом обыденном понимании, но важно понимать, что Вебер акцентирует одновременно *реально существовавшие* и *теоретически значимые* особенности бюрократического управления.

¹³ См. детальное описание: Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Op. cit. S. 125-130. Письменные формулировки являются необходимым условием четкости, связности и непрерывности.

¹⁴ См. : Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Op. cit. S. 28.

¹⁵ См.: *Ibid.* S. 124-126.

Вебер называет еще два вида легитимности: традиционную и харизматическую, и если традиционная принадлежит либо прошлому, либо иным, не западным культурам, то харизматическая, как оказывается, может существовать и в эпоху современности. Для лучшего понимания этого крайне важного момента вернемся к веберовской концепции действия. Вебер выделил четыре идеальных типа действия: целерациональное (ясность цели и расчет средств), ценностно-рациональное (ясность относительно характера поступка), акцент на совершении действия, а не на достижении результата), аффективное и традиционное (оба находятся на границе осмысленного поведения как такового, потому что первое из них носит чуть ли не чисто реактивный, а второе – чуть ли не чисто автоматический характер). Но можно предложить и более грубое, простое членение: было бы оправдано различие двух типов поведения: наполненного смыслом (рациональным или ценностным) и почти неосмысленного (реактивного или привычного). А отсюда можно сделать следующий шаг: к различению поведения мотивированного и немотивированного.

Не очень строго, но достаточно часто Вебер подразделяет мотивы на «идеальные» и «материальные». Однако важнее было сказать, что их объединяют две важные характеристики: ясность и обыденность. Об этом говорит и знаменитое понятие «харизмы», которое фигурирует в социологии религии и социологии политики Вебера. В социологии религии мы сталкиваемся с утверждением, что «религиозно или магически мотивированное поведение первоначально ориентировано *посюсторонне*» и что сам действующий ведет себя при этом относительно рационально, различая только «большую или меньшую повседневность явлений»¹⁶. В то же время харизма – это нечто *внеобыденное*. Таков дар колдуна в отличие от обыденной магии; таково качество пророка в отличие от жреца, включенного в «предприятие спасения»¹⁷. Точно так же и харизматическое господство основывает свою легитимную значимость на «внеобыденной самоотдаче, <обращенной> к святости или героической силе или образцовости какой-либо личности или порядкам, которые она провозвещует или создает»¹⁸.

Когда харизма исчезает, то это происходит в силу, как его называет Вебер, «опоЕседневнивания» (*Veralltaglichung*)¹⁹, причем в этом процессе, означающем ее традиционализацию или рационализацию, ключевую роль играют определенные *мотивы* приверженцев харизматического властителя, их материальные или идеальные интересы²⁰. Однако и в сфере религиозной, и в сфере политической внеобыденность отнюдь не исключает мотивированность как таковую. Дело в другом. Внеобыденности на шкале действий соответствует аффективное действие. Аффект, правда, находится на границе осмысленности, но все-таки по сию сторону этой границы. Аффективное действие – хотя и с трудом – признается осмысленным. Но

¹⁶ *Ibid.* S. 245.

¹⁷ *См.: Ibid.* S. 260f 268f.

¹⁸ *Ibid.* S. 124.

¹⁹ Для тех, кто таким о Вебером по английский переводам, привычнее слово «рутинизация».

²⁰ *Ibid.* S. 144-145.

продолжительность аффекта – это совершенно другое дело. Нельзя сказать, что преданность харизме столь же скоропроходяща, как, например, вспышка гнева. Ведь и чувственной самоотдачей гарантируется легитимность порядка (порядок же хотя бы относительно длителен). В некоторых случаях внеобыденное в области религиозной, например, личные качества мага или – как «суррогат» магии – подлинная, особо интенсивная вера, «могущая двигать горы», не квалифицируется по длительности. В тех случаях, когда религия и политика мало дифференцированы, вера в харизму причастного богам властителя легитимирует весь аппарат господства неопределенно долгое время; то же самое происходит и тогда, когда церковь, например, освящает императорскую или королевскую власть. И все-таки, если мы желаем сохранить различие между традиционным и харизматическим, то придется признать, что даже регулярно воспроизводимый аффект означает некоторое *прерывание повседневности* и сугубо харизматически производимые чувства более кратковременны, чем религия, которую Вебер именует «предприятием спасения», подобно тому как он называет предприятием и государственный аппарат, и современную науку, и организацию политических партий.

Но точно так же, как собственно аффективное действие несравненно менее продолжительно, чем эмоциональная самоотдача господину, вера в магическую силу колдуна или харизму праведника, так и мотивированность поведения во втором случае несравненно выше. Схематично это можно сформулировать так: аффективное действие скорее неожиданно и немотивированно, но, в сущности, достаточно обыденно; аффективная приверженность скорее ожидаема, мотивированна, устойчива, но при этом внеобыденна как особый, кратковременный род порядка по сравнению с более продолжительными порядками повседневности. Но можно трактовать это так: внеобыденно (харизматически) фундированный род порядка создает по-своему обыденную, привычную мотивацию, но лишь постольку, поскольку предполагает достаточно вероятным частое совершение аффективного, кратковременного – и потому почти немотивированного, невятного по смыслу действия²¹. Наконец, это можно переформулировать еще и так: харизма мобилизует сравнительно продолжительное аффективное поведение, в котором тем меньше аффекта, чем больше продолжительности. Растянутый и ослабленный аффект – основа направленного, сравнительно более мотивированного и осмысленного, чем обычно, аффекта.

Мы видим, что, по Веберу, ясность самосознания, осмысленность и мотивированность поведения постоянно находятся под угрозой. Им угрожают сила привычки и вспышка страсти, обыденность, доведенная до автоматизма, и внеобыденное, радикально нарушающее ход вещей. Мы видим также, что это жесткое противопоставление ясности и аффективности специфично именно для *современного*

²¹ Не всякий аффект относится к харизме. Но она невозможна без подлинно аффективного действия.

состояния с его преобладанием целевой рациональности. Современному как целерациональному противопоставляется не только традиционное в смысле значимости всегда существовавшего и привычного автоматизма. Ему противопоставляется также харизматическое, легитимированное особой прикосновенностью к высшим силам, и аффективное, т.е. сравнительно кратковременное и интенсивно эмоциональное.

Сведем теперь полученные в ходе предшествующего изложения результаты.

Третье основное положение политической социологии заключается в следующем: *Легитимность должна рассматриваться как особая характеристика приверженности действующих к социальному порядку. Это не столько приверженность к фактическому порядку как таковому, сколько к принципам и способам его самообоснования. Благодаря легитимности социальный порядок приобретает иное измерение своей значимости. Если сам по себе, просто как таковой, он выступает в единстве с физическим насилием, которое подкрепляет его и получает от него правовую санкцию, то, будучи легитимным, он оказывается укоренен в широком контексте истории и культуры, традициях, верованиях, ценностях, которые имеют более обобщенный характер. Легитимность позволяет ставить вопрос о законности закона, о правоте права, однако социолог рассматривает все существующие обоснования с точки зрения фактической приверженности действующих надфактическому.*

Поэтому преимущественным образом легитимность скорее всего должна оказаться привычной, традиционной легитимностью, даже если это привычная легальность, которую, правда, можно испытать, проверить на предмет ее рациональности. Очевидно, тем не менее, что здесь имеет место вера в рациональное устройство власти, которое может при необходимости выдержать испытание разумом, подобно тому, как, включая электрическую лампочку, мы не задумываемся о научных теориях, объясняющих природу электричества и позволяющих использовать его, а просто знаем, что в конечном счете, пожелаем мы проверить их, нам предложат рациональный эксперимент и рациональное доказательство. Но может ли сама по себе легальность послужить еще и мобилизующим моментом, т.е. давать дополнительный импульс поведению индивидов? Вебер склоняется к отрицательному ответу на этот вопрос. Вот почему – наряду с прочим ему необходимо понятие харизмы.

Четвертое основное положение политической социологии таково. *Поведение людей, в том числе и политическое, носит в значительной степени немотивированный характер. Отчетливая мотивация возникает в тех случаях, когда человек в полной мере осознает свои интересы и/или ценности. Совершенная немотивированность*

может быть следствием привычки или аффекта. Мотивированность может быть следствием ясного осознания целей и ценностей. Между этими идеальными полюсами и располагается все многообразие способов поведения. Харизма не просто составляет базис легитимности господства: аффективное напряжение, в том числе и в области политической, не может быть длительным, однако харизма позволяет, хотя бы и на относительно короткое время, мобилизовать людей для совершения определенных политических действий, выходящих за пределы их рутинных занятий, но и требующих более сильного импульса, чем его могут дать привычка, традиция или рациональное убеждение.

Может ли нас в полной мере удовлетворить веберовская концепция? Разумеется, и в этой части к ней можно предъявить претензии того же рода, что и высказанные выше относительно понятия власти. Наиболее сомнительным может показаться разделение родов легитимности. Мы видим, что до известной степени традиционная, легальная и харизматическая легитимность не столько исключают, сколько поддерживают друг друга. Вместе с тем, подробное исследование источников веры в некую надфактическую значимость порядка вовсе не обязательно должно ограничиваться веберовскими дилеммами, слишком произвольными, сухими и формальными²².

В послевоенной социологической литературе как понятие легитимности, так и понятие харизмы²³ используются достаточно широко. Так, Парсонс утверждает, что общество – это система, коллективная жизнь в которой организована вокруг «структурированного нормативного порядка», который является ее ядром. Ценности этого порядка, его нормы и правила получают легитимность только благодаря тому, что они соотношены с системой культуры, которая не является частью общества, а достаточно автономна и содержит ценности, несводимые к социальным условиям порождения правил и норм²⁴. Ш.Айзенштадт, исследуя прежде всего так называемые «исторические бюрократические общества», писал о том, что в них «политическая система» обладает определенной степенью автономии. У нее свои цели, задачи, виды деятельности. Характерной чертой этих обществ является то, что легитимация правителей в них имела преимущественно религиозно-традиционный характер, а критерии оценки обычно включали политические и религиозные ценности и ориентации²⁵. По определению С.М.Липсета, «легитимность предполагает способность системы породить и поддерживать веру, что существующие политические институты наиболее пригодны для общества»²⁶.

Попыткой радикальным образом переформулировать проблему стала книга Н.Лумана «Легитимация через процесс»²⁷. Луман предложил перевести проблему легитимности во временное измерение, *темпорализовать ее*. Легитимность, по Луману, «это обобщенная

²² Как это представлялось в начале 30-х гг. К. Шмитту. См.: Schmitt C. *Legalität und Legitimität*. München u. Leipzig: Duncker & Humblot, 1932. s. 14 ff.

²³ См. подробное исследование проблемы харизмы вождей у С. Московичи: Московичи С. *Век толп / Пер. Т. П. Емельяновой*. М.: Центр психологии и психотерапии, 1996.

²⁴ См.: Parsons T. *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1966. P. 16 f

²⁵ См.: Eisenstadt S. *N. The political system of empires*. Glencoe: The Free Press, 1963. P. 19.

²⁶ Lipset S. M. *Political man. The social bases of politics*. Expanded Edition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, mi. P. 64.

²⁷ Luhmann N. *Legitimation durch Verfahren*. 2. Aufl. Darmstadt und Neuwied: Luch ter hand, 1975.

²⁸ Ibid. S. 28.

готовность соглашаться с содержательно еще не определенными решениями в некоторых границах терпимости»²⁸, причем эта готовность не имеет отношения к личному произволу и личной мотивации. Она вырабатывается через «процессы», т.е. особого рода системы, которые последовательно, шаг за шагом устраняет неопределенность в ожиданиях событий и решений. Именно такой процессуальный характер носят в современном обществе судебная процедура, политические выборы и законодательство, принятие решений в аппарате управления. Готовность принимать вырабатываемые здесь решения (собственно, это область легальной легитимности, в терминологии Вебера) обеспечивается не правильностью самих решений и не тем, что они освящены авторитетом личности, традиции или божественного закона, но тем, что они прошли через *процедуру* принятия, в ходе которой сужалось поле возможных и видимых альтернатив.

²⁹ См. Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*, S. 20.

Но все отнюдь не исключает того, что осуществление власти натолкнется на противодействие. Случай столкновения двух волей Вебер называет «борьбой», причем мирная борьба, без применения физического насилия, называется конкуренцией²⁹. Наибольшее внимание из классиков социологии понятию борьбы уделил Зиммель³⁰. В наши дни социологи предпочитают использовать понятие *конфликта*. В

³⁰ См.: Simmel G. *Der Streit // Simmel G. Soziologie. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 11. Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1989. S. 284-382.*

рассуждениях Зиммеля мы хотели бы акцентировать лишь несколько моментов. Во-первых, Зиммель доказывает, что конфликт означает не прекращение, а продолжение социального взаимодействия, причем часто – это единственная возможность его сохранить. Если бы мы не могли возмутиться против тирании, своеволия, бестактности и т.д., то нам бы пришлось предпринять отчаянные шаги, которые сами по себе уже не были бы борьбой, но означали бы прекращение социального взаимодействия³¹. Зиммель указывает также, что надо различать борьбу как средство достижения какой-то цели и борьбу ради борьбы, из желания бороться. В первом случае она может быть прекращена или ограничена, если будут найдены другие средства достичь того же

³¹ См.: Simmel G. *Op. cit. S. 289.*

³² См.: Ibid. S. 297.

результата. Во втором случае такая замена невозможна³². В-третьих, наконец, существуют виды борьбы, в которых даже элемент личной враждебности не имеет первостепенного значения: это спортивная борьба³³ и юридическая тяжба³⁴. Зиммель привлекает внимание к тому важному обстоятельству, что борьба часто предполагает высокую степень общности между борющимися, и она тем острее, чем эта общность больше³⁵. Таким образом, постепенно выясняется, что вся жизнь современного общества пронизана борьбой. Это – важнейшая предпосылка всей современной социологии конфликта³⁶, да и вообще политической социологии.

³³ Зиммель называет ее «борьба-игра» (*Kampfspiel*).

³⁴ Simmel G. *Op. cit. S. 305.*

³⁵ См.: Зиммель Г. *Человек как враг // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М. : Юрист, 1996. С. 501-508.*

³⁶ В отличие от так называемой конфликтологии, которая в большей степени заинтересована способами преодоления конфликта.

Безусловно, важно то, почему и ради чего ведется борьба. Обычно социологи называют в качестве ее источника конфликт противоположных ценностей и стремление получить доступ к

ограниченным ресурсам, будь то доход, престиж или власть. Именно в такой перспективе в современной социологии в первую очередь усвоен один из основных тезисов марксизма: «История классово разделенных обществ есть история *борьбы* классов»³⁷. Очевидным образом, конфликт связан с легитимностью. Там, где неравенство в распределении благ и престижа считается полностью легитимным и теми, кто господствует, и тем, кто ущемлен, конфликт не возникает. В марксизме вместо понятия легитимности используется понятие господствующей идеологии как идеологии господствующего класса. Вместе с тем, полностью элиминировать конфликт из общества невозможно. Демократические общества, как считается, стремятся канализировать конфликт, ввести его в рамки предсказуемого и регулируемого поведения, сопряженного с минимальными возможными издержками³⁸. Однако при этом зачастую придется забвению, по меньшей мере, еще два важных аспекта.

На один из них обращает внимание Луман. Признавая продуктивную роль противоречий (системам нужна нестабильность, иначе они закостенеют), указывая на роль права как иммунной системы общества (право образуется в виду перспективы возможных конфликтов), он обращает внимание на *паразитический* характер конфликтов. Конфликты могут возникнуть в любом взаимодействии по причинам, характерным именно для этого взаимодействия. При этом они представляют собой самый чистый случай «двойной контингенции», о которой речь шла выше: «я не сделаю того, чего ты хочешь, если ты не сделаешь того, чего я хочу», и здесь степень взаимозависимости и взаимных обязательств оказывается куда выше, чем в тех случаях, когда речь идет о совместных ценностях и/или обоюдной выгоде³⁹.

Другой аспект классическим образом представлен в работе К.Шмитта «Понятие политического»⁴⁰. Основным критерий каждой области человеческой жизни, говорит Шмитт, – это особое, используемое только в ней различие. Такое различие в области экономической – «выгодное/невыгодное», в области эстетической – «прекрасное/безобразное», в области моральной – «доброе/злое». В области политической – это «друг/враг». Различение врага и друга – это высшая степень интенсивности, какую может обрести противоречие, конкуренция, несогласие в любой другой сфере. Враг – не конкурент, в том смысле, что с ним, возможно, даже выгодно было бы вести дела. Но если конкуренция достигает необычайной интенсивности, она превращается в политическую вражду. То же самое и с любыми другими противоречиями. С одной стороны, у политического нет своей собственной субстанции, но, с другой, политическое противостояние заставляет забыть о других, мирно разрешимых, противоречиях и других солидарностях, кроме спайки воинов и солидарности военных союзников. Ибо настоящая, политическая вражда, по Шмитту – это вражда не на жизнь, а на смерть. Такую

³⁷ См.: Маркс К, Энгельс Ф. *Манифест Коммунистической партии* // Маркс К, Энгельс Ф. *Сочинения*. 2-е изд. Т. 4.

³⁸ *Основополагающая работа по социологии конфликта*: Coser L. *The Functions of social conflict*. N. Y.: The Free Press, 1956. См. также: Collins R. *Conflict sociology: Toward an explanatory science*. N. Y.: Academic Press, 1975.

³⁹ См.: Luhmann N. *Soziale Systeme*. *Op. cit.* S. 504, 507, 510, 530-533.

⁴⁰ См.: Шмитт К. *Понятие политического*. *Цит. сок.*

вражду он называет *экзистенциальной*. Война является для него важнейшим измерением человеческого существования, политическое – высшим модусом бытия. Политическая жизнь государства характеризуется тем, что суверен подавляет политическую борьбу внутри государства, чтобы народ мог сплотиться для войны с внешним врагом. Если этого не происходит, суверенитет оказывается под угрозой, а государство, объявившее себя нейтральным, рискует, что уже не оно само, но какое-то иное государство будет определять для него, кто враг, а кто друг.

Пятое основное положение политической социологии состоит в том, что конфликт является неизбежной и нормальной составляющей социальной жизни. Конфликт может определяться самыми разными причинами, служить разным целям и осуществляться разными средствами. Однако конфликт далеко не всегда удается в вести в русло рутинной, протекающей по правилам процедуры. Конфликт обладает собственной динамикой. Раз начавшись, он может подчинить себе основные механизмы мотивации. Набирая силу, он превращается из способа достижения цели в самоцель. Достигая высшей степени интенсивности, в особенности в форме военного конфликта, он пронизывает все чувства, аффекты, целеполагания. Такой конфликт не может быть канализирован или отрегулирован. Он может быть подавлен превосходящей силой, или с течением времени (иногда очень длительного) исчерпывается его энергетика, деятельностный импульс.

3. Массы, доверие, экспертиза

Эти пять основных положений политической социологии позволяют очертить основное поле ее исследований и самым сжатым образом осветить еще несколько важных понятий. Если вернуться к самому началу нашего изложения, к рассуждениям о политической социологии как особой отрасли социологии и сопоставлению Аристотеля и Гоббса, то мы увидим, что «гоббсова проблема» и ее политическое решение в высокой степени сводятся к двум задачам: во-первых, требуется свести к минимуму последствия рациональности и своекорыстия; во-вторых, требуется найти возможности мобилизации коллективного поведения, которые бы не предполагали угрозу социальному порядку. Одним из наиболее изощренных и успешных механизмов такого рода является современная демократия. «Как бы неожиданно это ни прозвучало, – говорит Липсет, – стабильная демократия нуждается в проявлениях конфликта или раскола, так что здесь будет борьба за властные позиции, вызов партиям, находящимся у власти... но без консенсуса – политической системы, позволяющей мирную «игру» власти, без приверженности тех, кто «вне» [власти], решениям тех, кто «внутри», и без признания вторыми прав первых не может быть демократии. ... Раскол – там, где он легитимен – содействует интеграции обществ и организаций»⁴¹.

⁴¹ *Lipset
S. M. Political
Man. Op. cit.*

⁴² См., например, резюмирующее многие подходы определение К.С.Гаджиева: « Подобно тому, как культура определяет и предписывает те или иные нормы и правила поведения в различных ситуациях, политическая культура определяет и предписывает нормы поведения и «правил игры» в политической сфере. Политическая культура дает отдельному человеку руководящие принципы политического поведения, а коллективу – систематическую структуру ценностей и рациональных доводов, политические нормы и идеалы, обеспечивающие единство и взаимодействие институтов и организаций. Она придает целостность и интегрированность политической сфере подобно тому, как общенациональная культура придает целостность и интегрированность общественной жизни в целом.» (Гаджиев К. С. Политическая культура: содержание и сущностные характеристики // Политическая культура: Теория и национальные модели / Ответственный редактор К.С.Гаджиев. Составитель Д.В.Гудюшенко. М.: Интерпракс, 1994. С. 56.

⁴³ Lipset S. M. Political Man. Op. cit. P. 68.

Современному обществу не нужна ни тупая покорность раба, ни политический энтузиазм (стремление лично вникать в основополагающие политические вопросы) античного гражданина. Все дело в том, что – как мы говорили выше – политическая мотивация, политическое поведение находятся в сложной взаимосвязи с общей системой смыслополагания. Человек, по роду деятельности занятый рациональными операциями (будь то ученый или финансист), и человек, по роду деятельности занятый операциями рутинными (будь то рабочий у конвейера или мелкий конторский служащий), примут далеко не всякий способ политического правления и управления. Иногда такую обобщенную готовность к политическим действиям и бездействию в связи с общим смыслополаганием называют «политической культурой»⁴². «Основной тест на легитимность, – говорит Липсет, – состоит в том, до какой степени данная нация разработала «общую светскую политическую культуру», главным образом национальные ритуалы и праздники»⁴³. Однако здесь необходимо проводить дополнительную дифференциацию. Для того, чтобы придать нашему изложению больше единства, мы ниже вновь будем опираться на М.Вебера.

Итак, если внимательно присмотреться к сочинениям Вебера, то можно установить, что в политике мы сталкиваемся:

Во-первых, с массами. Массы в современном (демократическом западном) обществе верят (в точнее не определяемой мере) в рациональную обоснованность политического порядка. Но реальное функционирование политики как *предприятия* предполагает их эмоциональную мобилизацию на поддержку харизматического лидера. В последнем случае можно говорить об аффективном политическом действовании, прерывающем течение повседневности.

Во-вторых, с профессиональными политиками как функционерами предприятия. Их поведение целерационально, поскольку таково, по определению, любое предприятие. Функционеры движимы корыстью и сосредоточены на расчете средств, цели же (помимо корыстных) задаются вождем. Вождю они преданы не только корыстно, но и аффективно. Их поведение аффективно, поскольку определено преданностью харизме. Их поведение ценностно-рационально, поскольку преданность вождю предполагает самоценность определенных видов поведения. Их поведение целерационально, когда харизма «оповседневнивается», когда вождь входит в полосу неудач, когда стоит вопрос о сохранении порядка и поиске преемника-харизматика.

В-третьих, мы сталкиваемся с политическими вождями. Поведение вождя есть наиболее чистый тип соответствия профессиональному призванию в политике. Вождь действует «со страстью и холодным глазомером», причем страсть означает здесь не аффект («стерильную возбужденность», по словам Зиммеля, на которые ссылается Вебер), но преданность делу.

Рациональное предприятие (государство или партийная машина) мобилизует эмоциональность масс, возможность аффекта переводится в реальность аффекта, т.е. почти немотивированного, едва осмысленного поведения, находящегося *по ту сторону добра и зла* как этических истин, законодательствуемых универсальными религиями спасения. Политика забирает человека целиком, причем не только тогда, когда он как призванный профессиональный политик становится во главе партийной машины, на вершине политического предприятия (здесь он хотя бы совершает изначальный нравственный выбор, отдает себе отчет в происходящем и поступает мотивированно), но именно тогда, когда его эмоции (но отнюдь не ясное сознание мотивировок) мобилизуются для коллективного аффективного поведения. Массовое политическое поведение такого рода весьма энергично, оно *насыщено энергией*.

У Вебера мы находим описание двух сильно различающихся родов современной политики. Прежде всего, она относится у него к разряду тех «жизненных порядков», которые он часто именует «космосами». Среди них: «космос рационального капиталистического хозяйства», «культурное сообщество государственного космоса», «искусство как космос ценностей», «космос истин» рациональной науки⁴⁴. Также и политика может характеризоваться как «космос *политического* действия»⁴⁵. Именно с самостоятельными «космосами» приходит в столкновение религия, постулирующая этическую осмысленность мира как космоса. В политике как предприятии, кроме призванных политиков и их партийной машины, есть еще, в основном, только манипулируемая масса. В нее попадают все те, кто рационально и сознательно действуют в рамках своего призвания в других сферах, других «космосах». *Ясность и самосознание, отчетливость мотива* – все это, по Веберу, покидает современного человека, преданного своему политическому вождю. То же самое можно сказать о людях, которые включены в другой род политики: не в мирный порядок, но в войну. Политик – именно тот, кого Вебер именует подлинным политиком, поступающим в соответствии со «святым духом своего призвания» – это аскет, действующий *согласно нравственным максимам и притом вопреки универсальной этике братства*. Он живет «для» политики. Другие политики руководствуются грубыми, корыстными мотивами, живут «за счет» политики. Вебер не сомневается, что последних – большинство, поскольку речь идет о политической машине, «политическом предприятии». Они вполне рациональны, также действуют вопреки этике братства и притом без этической максимы.

Эмоции, самоотдача и т.п. присутствуют в политической жизни государства, они неотчуждаемы от политики как предприятия, однако даже в случае харизматического господства они мобилизуются преимущественно *ad hoc*, скажем, в ситуации выборов, либо в узком слое свиты политического вождя. Все остальное время

⁴⁴ Weber M.

Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. 9.
Aufl. Tübingen: Mohr
(Siebeck), 1988. S. 544-545.

⁴⁵ Weber M.

Wirtschaft und Gesellschaft.
Op. cit.
S. 355

рационализованная обыденность воспринимается как привычная или/и легально легитимная. Война, напротив, предполагает самоотдачу по самому своему существу. Применительно к политике как войне Вебер не разделяет призванных и корыстных политиков, политиков по профессии и массу. Война, по Веберу, создает необыкновенно спаянную общность воюющих, ибо придает смысл их жизни, точнее, – для них самих – их смерти.

Итак, мы опять сталкиваемся с внеобыденностью, харизмой, аффективным действием. Если речь идет о прагматике ведения войны, о средствах достижения максимального успеха, действие должно быть преимущественно целерациональным. Сам Вебер неоднократно демонстрировал это как политический аналитик. Если речь идет о принципиальной готовности к самопожертвованию, ясном осознании того, «за что», то это, пожалуй, ближе всего к типу ценностной рациональности. Эту точку зрения Вебер отстаивает тогда, когда речь идет о «политике большого стиля» в противоположность мелкому прагматизму. Наконец, самопожертвование как таковое, интенсивное ощущение воинского братства, освящение жертвенности – это именно то, что вступает в конкуренцию с харизмой, та альтернативная внеобыденность, которая создает (как мы это уже видели в случае с государством и господством) основу сравнительно продолжительного аффекта. Сравнительно ослабленный и продолжительный (в отличие, например, от вспышки гнева), сравнительно интенсивный и кратковременный (в отличие от обыденной мирной жизни), сравнительно осмысленный (в отличие от «просто» аффекта), сравнительно неосмысленный (в отличие от целерационального и ценностно-рационального действия) – таков этот тип поведения, совокупно с политическим поведением внутри государства составляющий «космос политического действия».

То, что здесь мы имеем дело с весьма специфическим видением войны, явно демонстрирующим и неизжитый империалистический энтузиазм, и выраженный национализм немецкой буржуазии, к которой относил себя Вебер, вполне очевидно. Но от этого социологическое содержание его рассуждений не становится менее значимым. Важнейший момент в них следующий. Напрашивается предположение, что не ценности и цели доминируют (здесь) над социальностью, но социальность определяет характер ценностей и целей. Иными словами, *не то, ради чего ведется война, и не те конкретные надежды, которые возбуждает харизматический политик, определяют готовность к жертве и эмоциональной самоотдаче; наоборот: ситуация эмоционального напряжения освещает ценности и цели.* То есть это воспринимается так: не может ведь быть ложным то, чему отдано столько сил и страсти! А это, свою очередь, можно спроецировать на вообще любое политическое поведение, только принимая во внимание, что в других случаях данная особенность может быть выражена менее явно.

Поведение такого рода – с парализованной, доведенной до минимума способностью к рефлексии, энергичное, характерное взаимным заражением, усилением поначалу не очень интенсивных эмоций и импульсов от совместного пребывания и, нередко, выполнения одних и тех же действий – все это важнейшие симптомы *массы*⁴⁶. Однако в рассуждениях Вебера, да и многих других авторов, нет важной категории: «доверие».

⁴⁶ Этот феномен достаточно хорошо освещен в том числе и в литературе, доступной на русском языке.

См., в частности, уже упомянутую книгу С. Московичи «Век толп»; здесь же приведена в значительной степени и релевантная литература. Из более экзотических источников см. Канетти Э. Массы и власть / Пер. Л. Г. Юнина. М.: Ad Marginem, 1997.

⁴⁷ Доверие есть нечто большее, чем просто личная установка, оно является типичной ориентацией, свойственной некоторому множеству индивидов, говорит П. Штомпка. См.: Szotomka P. Trust and Distrust. European Journal of Social Theory. Vol. 1. N 1. July 1998. P. 20.

⁴⁸ См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and society in the late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 127-130.

⁴⁹ Эта формулировка принадлежит Максусу Шелеру. Стоит заметить, что в последующем он изменил свою точку зрения. Ср. Шелер М. *Ordo amoris* / Пер. А. Ф. Фиштова // Шелер М. Избранное. М.: Гнозис, 1976. С. 342-346; Шелер М. Положение человека в Космосе / Пер. А. Ф. Фиштова // Там же.

Доверие не равно харизме. «Харизма» вырывает человека из рутины обыденности. Вождь или пророк может *спасти* тех, кто ему доверился, страждущих, глубоко недовольных своей повседневностью. И только отблеском харизмы обладают современные политические лидеры, мобилизующие активность масс во время выборов. Доверие – совсем другое дело. Оно укоренено в обыденности и в нем (в таком контексте) нет ничего личного⁴⁷. Я доверяю банкиру или врачу не потому, что знаю их лично, а потому, что у меня нет другого выбора. Открываю ли я водопроводный кран, включаю ли электричество, сажусь ли в лифт или в такси, покупаю ли хлеб или кладу деньги в банк, я могу только доверять тем людям, от деятельности которых, собственно, и зависит, не обернется ли для меня каждое из названных действий катастрофой.

Эти, казалось бы, совершенно рядовые обстоятельства, имеют ключевое значение, о чем пишут многие современные социологи. Так, Э. Гидденс говорит, что доверие – это «защитный кокон»; «покров доверия» позволяет нам поддерживать жизнеспособность того, что в теоретической биологии и философской антропологии принято называть «Umwelt», окружающим миром⁴⁸. «Окружающий мир» – это не мир как таковой, это тот его кусочек, в который хорошо вписалось живое существо. Окружающий мир нельзя отождествлять просто со «средой» обитания. Дело в том, что фактически среда обитания может меняться, но отбирать из множества информации мы все равно будем согласно некоторым предпочтениям, которые даже и не осознаем. Эта структура предпочтений – и есть «окружающий мир», и мы ее носим за собою повсюду, «как улитка свой дом»⁴⁹.

Но откуда берутся эти предпочтения? Антропологическая теория социальных институтов, разработанная А. Геленом и Х. Шельски говорит о том, что институты *разгружают* человека от бремени насущных проблем, он получает уверенность в жизни, а исполнение постоянных потребностей становится для него самоочевидным. Иными словами, у него не только нет нужды сознательно планировать свое поведение для удовлетворения потребностей, но нет и *сознания самих этих потребностей*. Институты не просто защищают его, но и проникают в глубины его сознания и воли. Однако человек не становится их марионеткой. Просто как «смысл жизни» он воспринимает не то, что гарантировано «фоновым исполнением», самоочевидным функционированием институтов, но

как раз то, что еще не гарантировано. Грубо говоря, человек должен быть сравнительно сытым, чтобы выбирать между конституцией и севрюжиной с хреном. Поэтому в современном обществе и возникает проблема «постоянной рефлексии», т.е. «возрастания сознания в себе самом»⁵⁰, субъективного «я», которое становится все более «спиритуалистичным», отторгает все объективированное, дабы с большей энергией погрузиться в глубины своего внутреннего мира. Важно иметь в виду, что эта постоянная рефлексия происходит именно вопреки, а на фоне институциональной разгрузки. Сюда, конечно, можно отнести (чего сам Шельски еще не делал) и доверие к политикам, и доверие к экспертам-профессионалам.

⁵⁰ Schelsky H. *Auf der Suche nach Wirklichkeit. Op. cit. S. 257.*

Несколько иначе рассуждает Луман⁵¹. Для него доверие – это не самый фундаментальный феномен. Ведь тому, что нам совершенно незнакомо, мы не можем ни доверять, ни не доверять. Сложность, многообразие непреодолимы, если сначала не возникает «осведомленность», на базе которой только и возможны доверие и недоверие. Осведомленность делает возможными относительно надежные ожидания, но она не говорит о том, благоприятно ли то, чего мы ожидаем. У нее есть важная особенность, говорит Луман, – это контрфактический характер. Иными словами, доверие – это не знание, о том, как поступит тот или иной человек или будет функционировать система, но ожидание, которое может исполниться, но может быть и разочаровано, причем в обоих смыслах: и в позитивном, и в негативном. При этом разочарованность не приводит к отказу от ожидания. Тот, кто не оправдал доверия, не лишается его, обычно, с первого раза, а тот, кто его не заслуживал, не обретает его с первым же неожиданно хорошим поступком. Доверие же тем более отрывается от течения повседневных событий (ведь случается всякое, в том числе и то, что свидетельствует против доверия) и тем самым помогает преодолеть сложность. Доверие, говорит Луман, это «рискованное действие на опережение»⁵², но это не просто надежда, что случится именно то, чего мы хотим. Доверие бывает только там, где есть серьезный риск, и если оно не оправдывается, это будет значить, что мы не просто «понапрасну понадеялись на», но что было принято неправильное решение. Принимая его, мы знали, что другие принимают свои решения, которые могут быть и не в нашу пользу. Тот, кто надеется, просто не думает об этом или старается не думать. Тот, кто доверяет, заведомо знает, что может случиться всякое. Таким образом, доверие для Лумана – не «защитный кокон», но особый вид *рациональности*. Мы доверяем тогда, когда у нас не хватает информации (не тождественной просто осведомленности), не хватает времени ее собрать, а решение принимать надо. «Доверие/недоверие» как рациональная схема ориентации – вот как ставится вопрос. В одних случаях мы доверяем человеку, в других – системе, в одном аспекте доверяем, в другом – не доверяем,

⁵¹ См.: Luhmann N. *Vertrauen. 3. Aufl. Stuttgart: Enke, 1989.*

⁵² *Ibid. S. 23-24.*

выстраиваем более сложную стратегию доверия/недоверия и именно так и ведем себя рационально.

П. Штомпка различает «культуры доверия и недоверия». Именно первые, по его мнению, делают возможным активное, предпринимательское поведение. Он выделяет семь «контекстуальных условий», которые поощряют доверие, тогда как противоположность им производит «культуру недоверия». Это: (1) уверенность в нормах / нормативный хаос (аномия); (2) прозрачность социальной организации / секретность; (3) стабильность социального порядка / текучесть, подвижность; (4) подотчетность власти / произвол и безответственность; (5) законодательное подтверждение прав и свобод / беспомощность, отсутствие институтов, устанавливающих правила социальной игры; (6) принуждение к выполнению обязательств / вседозволенность; (7) защита достоинства, неприкосновенности и автономии каждого члена общества / отношение к человеку со стороны институтов скорее как объекту, нежели как субъекту⁵³. Один из парадоксов демократии, уверен Штомпка, состоит в том, что институционализация недоверия порождает доверие. Все ее функционирование построено на том, что недоверие к власти не скрывается, не подавляется, но вводится в институциональные рамки. С другой стороны, и гражданину не доверяют абсолютно, в том смысле, что власть не считает, будто он спонтанно, без принуждения будет вести себя законопослушно. Это взаимное недоверие и порождает культуру доверия.

Мы видели, что доверие сопряжено с существованием в обществе областей профессионального знания. Гидденс в этой связи специально указывает на значение *экспертизы* для современного человека и современного общества. Но он также (а вместе с ним и ряд других крупных социологов⁵⁴) указывает и на готовность современного человека доверять гадалкам, астрологам, колдунам, в общем, всем тем, кто, казалось, должен был быть вытеснен из современной социальной жизни процессом рационализации. Конечно, эксперты представляют науку, но они нередко противоречат друг другу, что легко бывает установить, если пройтись по нескольким врачам со своими болячками⁵⁵. К экспертному знанию постоянно апеллируют политики.

Но можно посмотреть на это и с другой стороны. В наше время, как заметил еще А. де Токвиль, правительства постоянно обогащаются всеми знаниями, заимствованными у своих граждан. Действительно, в каждой узкой области знаний компетентность ученого, в принципе, выше, чем у чиновника. Зато в распоряжении чиновника – много ученых. Как открыватель неизведанного интеллектуал, конечно, уникален. Но как *один из* специалистов в своей области он может быть заменен. Выдающиеся способности не столь важны, когда речь идет о том, что должно быть доступно всем специалистам определенного профиля. И, наконец,

⁵³ См.: Sztompka P. *Op. cit.* P. 23-25.

⁵⁴ Например, Мишель Маффесоли. *Сал: Маффесоли М. Околдованность мира или божественное социальное* / Пер. И. И. Звонаревой // *Социо-Логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991. С. 274-283.*

⁵⁵ *А нередко ситуации, когда противоречия экспертов могут иметь роковой характер для всего общества.*

кто сказал, что высокообразованным специалистом не может быть сам чиновник?

Мы знаем, что бюрократическое управление требует комплекса специальных знаний и, как минимум, специального образования, будь то в области финансов, юриспруденции или инженерных дисциплинах. Ученый стремится постоянно открывать новое и быть в курсе достижений коллег. Зато чиновник привлекает советников и экспертов, имеет доступ к особому источнику знаний: так называемой «служебной информации». Ученый прочитывает сотни книг, зато чиновник получает дайджесты, обзоры, аналитические записки. Ученый может стать чиновником, а чиновник – ученым. Но в эксперты годится не только ученый.

Действительно, хотя наука, по-прежнему исправно поставляет самых разных экспертов, рекрутироваться они теперь могут *практически из любой сферы деятельности*. Главное – обладать специальными знаниями или умениями, а уж какого они рода и как получены – не столь важно. Эксперт по операциям с ценными бумагами (не ученый-экономист, но опытный биржевой спекулянт), эксперт по разведению редких пород собак, по огранке драгоценных камней, наконец, по созданию привлекательного публичного облика влиятельных персон (имиджмейкер) вряд ли могут быть отнесены к категории ученых в традиционном смысле слова. Скорее всего, под общим именем эксперта объединяются достаточно разнообразные специалисты. Общее для них – роль знатока. И проблема совсем не в том, как бы не спутать ученого эксперта с неученым. Дело совсем в другом.

Ведь современный эксперт – не просто знаток чего-либо не общеизвестного. Это часто еще и *публичная фигура*, а ссылки на его мнение важный элемент *публичной аргументации*. Вот здесь-то и возникает вопрос: *во-первых*, кто и как в состоянии отобрать доброкачественного эксперта, а *во-вторых*, почему эксперт может внушать доверие публике. Сегодня всякий, кто нанимает эксперта, – тоже профессионал. Но профессионал он в чем-то одном, а эксперты ему нужны самые разные. Разумеется, можно опереться на помощь одних экспертов, чтобы подобрать других. Так появляются эксперты по экспертам. Но ведь их тоже надо отобрать! Мы не выберемся из этой ловушки, если не примем в расчет, что в обществе есть признанные, хотя и не беспорные, инстанции экспертизы. Это – прежде всего, институционализируемая наука. В ученом мире происходит перекрестная проверка результатов исследований, появляются научные «имена», присуждаются степени. Это целая система организованного производства истин и репутаций. Доверие к ученому – не столько личное доверие к человеку, сколько доверие к стоящей за ним системе. И важно не то, что он открыл, а то, какие у него свидетельства о квалификации и какая репутация. Теснейшим образом к науке примыкает и система образования. Уже диплом

о высшем образовании предполагает, что эксперта учили люди, прошедшие ступени официального научного признания.

Откуда же берется доверие к науке и образованию как системам? Отношение к научному эксперту, примерно, такое же, как к врачу. Сколь бы ни были успешными целители, предлагающие альтернативу «официальной медицине», большинство людей все равно полагает, что знахарю не под силу зарастить своим биополем дырку в зубе или удалить аппендикс. Точно так же они доверяли врачам и сотни лет назад, когда признанные в ту пору методы лечения были совершенно ненаучными, по нынешним меркам. Успехи или неудачи, добрая слава и дурная молва не значат ничего. «Официальная» медицина, «официальная» наука, «официальное» образование входят в стабильную систему, где они освящены авторитетом политической власти и, в свой черед, поставляют ей «официальных» экспертов.

Однако и политика получает от них многое. Идеальным образом это выглядит так. В демократическом обществе политическая власть гарантирует относительно автономное существование тем областям знания и опыта, откуда приходят ее эксперты. Власть, кроме того, поддерживает их общественный престиж самым фактом публичного обращения за экспертизой. Получает же она от них не только дельные советы, но и свою долю престижа: если власть привлекает для выработки решений *независимых* и *уважаемых* экспертов, значит, ей можно доверять, она честно искала лучшее решение.

К сожалению, благостная картина сотрудничества политической власти и науки не соответствует реальности. Дело даже не в том, что подлинная жизнь науки, как показывают современные исследования, вообще мало напоминает бескорыстный поиск истины. Все гораздо сложнее. Откуда бы ни приходили эксперты, вступая в политику, они переходят незримую, но весьма ощутимую границу. Эксперт как публичная фигура уже не принадлежит науке. В науке лишь та теория считается состоятельной, которую можно опровергнуть. В политике от ученого-эксперта ждут авторитетного суждения, а не бесконечных разысканий истины, не аргументов и контраргументов, но окончательного вердикта. Вместе с тем, эксперт не выносит политическое решение и не несет той ответственности, которая может быть сопряжена только с политической властью. Иными словами, ученый в политике, эксперт – это не ученый и не политик. Экспертиза образует особый круг, особую систему со своими правилами игры и кодами. Именно экспертиза должна снять бремя неуверенности как с обычного человека, так и с политика, именно так и образуется «защитный кокон» доверия: *эту воду можно пить, здесь можно строить АЭС, данный договор соответствует международному праву*. Получается, что именно в руках экспертов сосредоточивается совершенно особая власть, именно они сообщают авторитет политике и науке. *«Правильное решение*

принял президент» – говорят эксперты, и все довольны: хороший президент поступает по науке; хорошая наука вовремя приходит на помощь президенту.

Или не приходит! Там, где есть власть, есть и борьба за власть. Есть оппозиция в политике – на то и демократия. Есть оппоненты в науке – на то и поиск истины. Но как быть с противоположными позициями экспертов? Доверия к науке это не прибавляет, и тогда возникает соблазн привлечь экспертов, представляющих альтернативу «официальной» науке. Возникает соблазн – впрочем, вполне объяснимый, – повлиять на публично выражаемое мнение экспертов всеми доступными средствами, или оспорить их мнения, исходя из превосходства человека политики над человеком науки, или «разыграть» одних экспертов против других, или вообще поставить под сомнение необходимость экспертизы – хотя бы «в данном конкретном случае».

Итак, с одной стороны, – эксперты, жаждущие власти без ответственности и конфликтующие между собой в борьбе за властные позиции. С другой, – политики и чиновники, обнаруживающие (часто не без помощи конкурирующих экспертов), что их советники вовсе не являются ни источниками совершенной истины, ни представителями бесспорного авторитета. С одной стороны – эксперты, ставящие под сомнение компетентность политиков и чиновников, с другой – политики и чиновники, публично подрывающие репутацию экспертов не только критикой, но и бестактным публичным поощрением.

Столкнувшись с множеством экспертных суждений, улавливая явную растерянность политиков, современный человек приходит к пониманию того, что решать-то придется ему самому⁵⁶. Получается, что отношение «массы/вождь» не то чтобы исчезает, но оно теряет ту первостепенную актуальность, какую оно имело до второй мировой войны. Точно так же и современная рациональность не совсем похожа на целевую рациональность, о которой говорил Вебер. Человек окутан «защитным» «коконом доверия, он – иногда сам того не сознавая – уверен в обеспеченности своего повседневного существования. А это, между прочим, зависит от нормального функционирования политики как особой сферы и политиков как профессионалов. Доверие, подобно вере в легитимность, дает политикам и экспертам определенное пространство свободы⁵⁷. Однако все имеет свой предел, и в какой-то момент либо резкое и продолжительное уменьшение эффективности приводит к потере доверия и даже легитимности, либо рост ожиданий превышает способности политики, что имеет, в конечном счете тот же результат.

Все это делает скорее не очень плодотворным элитистский анализ политики. Это не значит, что никогда прежде или хотя бы в современном обществе нет замкнутых, малочисленных и очень влиятельных кругов, нередко играющих решающую роль в политической

⁵⁶ См. об этом по-
дробнее в моей статье:
Филиппов Л. П.
Современность и
повседневная ра-
циональность // Стратегия.
№ 1. 1998. С. 33-49.

⁵⁷ Поэтому нельзя
сказать, как это
предлагается в системном
анализе политики Д.
Истона, что, когда
политика (как система)
удовлетворяет со-
ответствующие
ожидания, то взамен
получает поддержку.
Поддержка может
длиться гораздо дольше.
См.: Easton D. The Political
System. N. Y.: Knopf, 1953.

жизни, несмотря на весь ее демократизм. Те, кто располагает наибольшими ресурсами власти, не могли бы удержать их, если бы не задавали – явно или неявно – правила игры. Дело не в том, что такие группы и круги есть, а в том, что социология здесь малопригодна. Она состоятельна, пока речь идет о коллективном поведении множества людей или небольших групп и даже индивидов, но только представляющих зримую массу, принципиально доступный наблюдению круг. Вышние и вообще закрытые для постороннего взора круги недоступны и для социолога. А поскольку социолог претендует на описание *всего* общества, то в одних случаях (в эпохи массовых движений, крушения устоявшихся форм правления и управления, повышения зависимости политиков от макропроцессов, ускользающих от их контроля и понимания) незнание «тайн мадридского двора» существенно улучшает его теоретическую оптику⁵⁸, повышает шансы на понимание происходящего. Здесь социолог не отвлекается на *пустяки*. Но в других случаях (в устойчивых иерархиях, в принципе не только закрывающих доступ к управлению со стороны масс, но и делающих непрозрачной для непосвященных самую структуру иерархии; в ситуациях заговоров и тайных сделок, имеющих серьезные последствия для множества людей) он куда более ограничен в своих возможностях. Здесь социолог не может видеть самого важного. Классическую социологию создают люди, не имевшие шансов, не захотевшие или не сумевшие войти в вышние управленческие круги. Обычно отсюда выводят «ненаучность политики», забывая о том, что другая сторона медали – это особая неполитичность науки, дающей описание воздействий властных кругов на массы, но не располагающей подлинным знанием о том, как плетутся интриги и принимаются решения.

В той мере, в какой правящие круги доступны для исследования, они не представляют собой подлинной теоретической проблемы. В той мере, в какой они скрыты от исследователя, они тоже не представляют проблемы. Социолог в любом случае не только занимается исключительно доступными объектами. Главное состоит в том, что он исследует не столько элиту, сколько то общество, в котором определенные функции сосредоточиваются в узких, замкнутых и успешно навязывающих представление о собственном престиже кругах. Однако во всяком случае для производства значимых описаний ему должно быть довольно в качестве основы того теоретического аппарата, который был выстроен в нашей статье или может быть легко достроен в соответствии с потребностями исследований⁵⁹.

⁵⁸ Иными словами, у такого наблюдателя больше понятий, пригодных для производства значимых описаний.

⁵⁹ См. классические работы: Wright Mills Ch. *The pone & elite*. London: Oxford University Press, 1956. Имеется русский перевод, доступный, к сожалению, далеко не в каждой библиотеке: Райт Миллз Ч. *Властвующая элита*. М., 1958. Во многом полемически направлена книга Р. Дая «Кто правит?». См.: Dahl R. *Who governs?* New Haven and London: Yale University Press, (1961) 1989.